

И н н а К и м

КАК Я БРОСИЛА КУРИТЬ

Я очень впечатлительный человек.

Из-за этого, я думаю, мне не светит выйти замуж. Только познакомлюсь с парнем — сразу начинаю представлять всякие глупости: как мы поженились и живем вместе. Пропасть времени. Около миллиона лет — или пятнадцати.

Подаем друг другу стаканы воды. Выгуливаем собаку. И нам хорошо молчится вместе.

Фу! Скучнее только быть наказанной летом в десять лет.

Уже и не помню, за что меня тогда наказали: на месте этого воспоминания красуется дырка — как на дырявом шерстяном носке. И оттуда торчат скрипучие нитки-коротыши (моль прогрызла — или все-таки, как я всем говорила, носкогрыз?!)

Я одна в пахнувшей молоком и мухами золотистой летней прохладе бабушкиного деревенского дома, а ревниво подглядываемый мною мир — через непромытое окошко — как чистилище или лимб: тусклый и бесцветный.

Да! Я прекрасно помню свое беспросветное детское отчаяние: что останусь здесь навсегда.

Чем занимаешься? Это меня спрашивают парни, знакомясь. Не подозревая, что прямо сейчас я в своем воображении штопаю им сотысячную пару дырявых носков.

Говорю: я учу детей рисовать. Даю задание, а сама рассказываю что-нибудь интересное. Мои смешные десятилетки водят шелестящими грифельными карандашами по шершавым листам — и слушают. Видно, что слушают!

Обожаю это: беззащитную теплоту внимательных детских затылков.

Вчера затылки внимали про «Раненого ангела» финского художника Хуго Симберга — удивительную, убивающую историю о незащищенности детей перед злом и перед добром. О нежности и смерти. О беззаботных детских играх. О суровой и печальной метафоричности мира.

Два мальчика: один безучастный, пугающий, — и пасмурно выглядывающий на тебя второй. Они куда-то несут на самодельных носилках своего товарища: с поникшей льняной головой и кровоточащим крылом. То ли хотят его спасти. То ли собираются им пожертвовать.

После урока я собрала детские рисунки (тема была свободная): вид из окна, мой насуспенный профиль, озирающаяся в углу класса пыльная голова Давида — и двадцать раненых ангелочков!

Когда я вспоминаю об этом, мое сердце открывается.

Я живу в уютном городке Олонец; здесь почти все друг друга знают — и, если вдруг, задумавшись, не улыбнешься знакомым, застыдят. Скажут: дочка уважаемых людей, выучилась на художницу в Петербурге, а такая невежливая.

Идешь по улице и только успеваешь здороваться да гладишь ласковые лохматые головы соседских собак. Удивительно! Слепые малыши, появляющиеся на свет весной, не больше ладошки, но лето промелькнет, а к тебе с веселым лаем уже подскакивают большие сильные псы.

Моя мама — она ветеринар — все время возится с животными, принимает у них роды, лечит, делает прививки, дает витамины, и я ей иногда помогаю, так что мамыны четвероногие пациенты меня тоже признают и приветствуют. Спокойно не пройдешь — окружают, вскакивая на задние лапы, да еще норовят лизнуть с разбега в нос.

А десятилетки, которые у меня учатся, как только заметят, что я иду, отовсюду несутся навстречу счастливыми смеющимися колобками. И, глядя на них, я тоже начинаю смеяться.

Я рада, что вернулась домой, хотя в большом беспокойном Питере мне понравилось (да и к сырости я с рождения привыкла). А что? Могла бы сейчас работать в каком-нибудь музее или галерее современного искусства. Только как бы я жила без обиженно сморщившейся от ветра Олонки (так обижается и сердится ребенок, если ему подуешь в нос)?

Над нею часто бывают облака и туманы — даже летом. Но иногда Олонка — наша река — такая тихая и прозрачная, что отражает все вокруг диковинным зеркалом, так что и не разберешь, где верх, а где низ, где мир реальный, а где отражающийся.

Она вытекает из Утозера и течет, пока в нее возле острова Мариам не впадает «барсучья» река Мегреги, а потом Олонка задумчиво поворачивает к Ладожскому озеру: как человек, который почему-то передумал.

Мой город окружен тянущимися до горизонта золотыми и коричневыми полями — они как на картинах Хуго Симберга и Эндрю Уайета. А в самом Олонце повсюду старинные деревянные мосты с темными деревянными ледорезами внизу — излюбленные места детских игр. Но когда дети разбегаются по домам, унося свой солнечный звон, печаль и ждущую наполнения пустоту, — здесь становится невероятно тихо.

Люди на берегах Олонки живут с III тысячелетия до н.э. В Карелию они пришли, когда ледники освободили здешнюю землю. Но старый финно-угорский миф рассказывает о бескрайнем океане, над которым мечется одинокая ласточка и вдруг видит сияющее из воды голое колено девы Ильматар — будущей матери первого человеческого существа. Раскинув колени, та неторопливо расчесывает золотые волосы.

Птица садится на соблазнительное колено, чтобы снести крохотное яичко — только оно беспомощно скатывается вниз: желток превращается в солнце, а белок в луну. Хрупкая скорлупа становится Землей.

И три девы-подруги выращивают из «любовного листика» дуб — он поддерживает небо, касаясь Полярной звезды. Каплями блестят новорожденные озера. По ним в легких лодках плывут истомившиеся от одиночества парни. Они умирляют океан, чтобы можно было привезти домой невест.

Красивые истории! Старые, как человечество. О любви, начинающей новую жизнь.

Но почему-то люди всегда превращают жизнь в смерть. И когда осенью 1941 года Олонцкий район был оккупирован финскими войсками, выступившими на стороне фашистской Германии, — рядом с Олонцом (финским Ауннуслинном) дети Ильматар построили концлагеря для военнопленных и гражданских лиц не финно-угорских национальностей.

Парни изумляются: что я делаю в какой-то задрипанной карельской школе после мегасуперофигительнокрутой Академии художеств (Санкт-Петербург)!

Но тут я тверда — не снисхожу до ответа. В конце концов, эти парни такие же воображаемые — как их воображаемые недоштопаные носки.

А вот Репинка настоящая.

Учиться там я мечтала еще в детстве, вкусно шурша по ватману кисточкой, которую макала в разноцветное варенье гуаши. Почему-

то получалось, что к концу картинки я всегда наедалась краски, так что отчетливо помню, какая она на вкус, — и какой деревянно-вязкий привкус у кисточек, чьи длинные острые кончики я задумчиво грызла во время рисования.

Мой детский рай! Художка... Бутафорские фрукты с украдкой выцарапанными скрепкой сердечками. Пыльно-белые древнегреческие головы из гладко охлаждающего ладони гипса. Вспыхивающие солнцем драпировки. Неуклюжий березовый пенек (я его рисовала прозрачной акварелью!)

Николай Фомич, наш старенький учитель рисования, отгоняет от меня томимых муками созревания мальчишек: чтобы я не отвлекалась. Он говорит: твоя рука должна быть как у хирурга; точность жеста, безупречность линии — без права на ошибку. А мне пятнадцать! Блуждание в тумане вокруг да около просыпающихся неведомых чувств — неясная тревога.

И вот Академия художеств — и мы, три будущие закадычные подружки, — Зоя и Света дышали мне в затылок при поступлении. В прямом смысле: сидели позади во время экзамена по рисунку и взволнованно вздыхали, страшась провалиться.

Мы рисуем мраморного Давида (копию). И во мне, семнадцатилетней, жжется что-то странное и сладкое: радостно-сосредоточенная юная готовность к схватке с любыми голиафами.

Да, обескураживающе прекрасный, держащий пращу Давид — лучшее, что вообще можно сказать о человеке. О юности. Об эгоистичной физической радости простых движений в безостановочно движущемся мире.

Я не могу сосредоточиться, чувствуя затылком двойное, пока незнакомое девчоночье дыхание — как приставленные к моей голове пистолеты.

Ослепительный белый свет. Ба-бах! И красная кровь повсюду.

Но каким-то чудом я все же сдаю тот экзамен и поступаю — Зоя и Света тоже. Мольберты, палитры... Вечернее рисование, споры об искусстве...

Лак, штрих, гуашь и маркер золотой! И сладко пахнет маслом.

Пространство Репинки расходится кругами — как от брошенного в воду камня или как сворачивающаяся и разворачивающаяся змея. От этого время здесь словно попало в западню — и не может вырваться.

Попади сюда сам — и накатывает странное, завораживающе-пугающее ощущение: будто все еще XVIII век, — и по узким коридорам скользят тени студентов с гигантскими папками.

Нас — оказавшихся иногородними — заселяют в одну комнату местного древнего общежития. И мы, тоже ставшие невольницами, передаем по замкнувшемуся кругу вчерашнюю холодную картошку, запивая дешевым вином из надорванного пакета и решая, куда бы завтра сходить, чтобы там предложили чай с бутербродами.

А то начинаем друг друга кружить и, как дуры, орать. Просто так. От ощущения своего нескончаемого счастья.

И все время безудержно хочется творить, точно что-то толкает. Будто все, что тебя окружает, излучает неутолимую потребность в твоих картинах. А услужливое воображение рисует неясное, тревожащее, радостное: выставки, славу, любовь.

В Академии художеств я начала курить — и бросила рисовать.

В этом виноваты Зоя и Петров.

С тех пор, как я бросила рисовать, у меня осталась только музыка. Но я ее не слушаю — я ее смотрю. Закрываю глаза, и из темноты выплывает густое, зеленое. Колышется. Набухает (как слезы).

И вдруг превращается в ночное море, из которого выходит Зоя, перекручивая и отжимая гладко-мокрые волосы.

Мы сдали летнюю сессию и автостопом добрались до Крыма — три смеющиеся девчонки с длинноногими мольбертами: красавица (Зоя), умница (Света) и я. А там бархатно утопающее в розах лето — и невиданные, маслянисто сияющие, мясистые горы черешни на прилавках полосатых от солнца крымских базарчиков.

Зою преследует толпа поклонников — как всегда. А мы со Светкой в Зоиной золотой тени опять становимся невидимками. Но все равно хорошо: море — то грохочущее, то просто шумливое — навевает медленные мысли о времени.

В мой голый загорелый живот колко впивается камешек, но перероачиваться лень. Лежишь, а по тебе будто горячее подсолнечное масло растекается. Кайф.

Я закурила из-за Зои.

Зоя — это жизнь по-древнегречески. И самая красивая девочка на нашем курсе, а то и на Земле.

Ее в Репинке все просили позировать.

Не знаю, как Светка, но я Зое никогда не завидовала: я ею любовалась, обмирая от непонятого ощущения то ли счастья, то ли горя. Где бы Зоя ни находилась — на морском берегу, в общаге, — она будто концентрировала всю имеющуюся в том месте материю. Рядом с ней всё — и я — было как размытая водою краска.

Зелень волны, человечьи лица, солнечный свет вымывались и исчезали из мира. Но я не боялась и не жалела, что меня вот-вот не станет, — слишком неуловимым казалось мое существование рядом с Зоей. Она была как четырехмерная сверхновая, вдруг оказавшаяся в нашей трехмерной вселенной.

Все в ней было красивым, и все она делала красиво: зевала, ела, курила. Брала пальцами обычную сигарету — точно это была волшебная палочка Кирки, превращающая мужчин в животных.

И они превращались — менясь глазами, из растущей сердцевины которых выплескивалась и расплывалась вязкая чернота. Дыхание и тембр становились медово-жадными. Лица застывали. Пальцы напрягались, словно изготавливаясь погладить или схватить.

Выглядело это даже страшновато — как метаморфоз оборотней. Но, если честно, мне до нытья в животе хотелось, чтобы парни, глядя на меня, тоже перекидывались — или хотя бы переставали жевать.

Ну как тут не закуришь?

Я так сильно хотела обладать этим золотым телом! Чтобы оно принадлежало мне. И только потом я поняла, что желаю Зоино тело не в содомском смысле, а в буквальном: чтобы эти шелково текущие светотени, образующие золотую Зою, были моими. Чтобы я стала похожа на разнеженную на солнце кошку и взрывающуюся шаровую молнию, какими она была.

Однажды, когда я еще не понимала природы своего влечения к Зое, покурив, мы переспали, но после короткой неуклюжей любви никогда этого не вспоминали. Даже Светка ни о чем не догадывалась.

Единственное, что просочилось в реальный мир из-за наглухо запечатанной мною двери того стыдного жаркого сна: запах Зоиной кожи. Она пахла потеряннным раем — сладко и грустно. Солнцем. Цветочной росой. Вечною семнадцатилетнею юностью.

Это мы со Светой взросли, а Зоя оставалась неизменной. Она была как прекрасное бессмертное хтоническое чудовище, питающееся лю-

бовью, которую вызывала к себе: засасывая трехмерный мир мужчин в четырехмерную полынную бездну своего золотого треугольника.

И ей всегда оказывалось мало: я стала не единственной влюбленной — влюбленным, кого Зоя бросила. Обычно происходило так: у подруги появлялся новый поклонник, к которому она уходила, — и потом возвращалась. Снова лежала, не расстелив кровати и разметавшись, сладко дыша в своих загадочных снах под солнечною невесою сеткой упавших на лицо волос, а просыпаясь, мечтательно смотрела в окно шалыми кошачьими глазами.

Вскоре Зою уводил новый любовник: молодой, старый, бедный, богатый, красивый, уродливый — без разницы. От него нужно было только одно — любить. Кипеть. Правда, сама Зоя в этом кипении принимала пассивное участие, так что и любовники через какое-то время перекипали. Все, кроме Петрова.

За которого Зоя выскочила замуж еще на первом курсе.

Все звали Зоиного мужа просто Петров — он был самый талантливый в Репинке. Один-единственный, кому из студентов выделили мастерскую. Там-то они и жили, и оттуда Зоя уходила на несколько дней или месяцев, туда же потом возвращалась от любовников, о которых никогда не говорила и, кажется, даже не вспоминала.

Ни разу не слышала, чтобы Петров устраивал ей сцены ревности. А вот на Зою иногда нападала странная ярость: тогда она могла запустить в лицо мужа чугунной сковородкой с яичницей. Сама видела: увернувшийся Петров, убрав с пола разбрызганные желток и белок, спокойно раскладывал краски и звал Зою позировать. Она раздевалась. В общем, оба вели себя как ни в чем не бывало, не обращая внимания на смущенную — и ревнующую — меня.

А я начинала польхаться — будто нечаянная преступная свидетельница происходящего только между ними двоими. Мои слова зависали неотвеченными; сквозняк захлопываемой двери безучастно стучал по ногам.

Я освобожденно вдыхала запахи улицы, вытолкнутая бешеной сосредоточенностью Петрова на жене. И вдруг мне становилось непонятно, до дрожи страшно: когда я вспоминала привычное мучительное обожание, с которым Петров рисовал свою — и больше ничью! — Зою. Золотые Зоины портреты многослойно покрывали стены и все углы мастерской — будто Зоин муж свивал какой-то невиданный кокон, в котором, фасеточно множась, навечно застывала моя подруга.

Они были прекрасны — эти портреты. Даже прекраснее живой Зои. Там она была будто облита масляно-желтым летним солнцем, и ее легкое солнечное тело продолжало движение — замерев. Вот она возлежит, поднеся к великолепной шее согнутую кисть совершенной руки. А здесь кажущаяся совсем девочкой Зоя смыкает скромные колени — словно баюкая невидимое дитя. И снова тянет роскошную руку, нестыдливо роняя с плеча и выгнувшейся спины драпировку.

Но они (портреты) подавляли: будто паря на головокружительной высоте. А Зоину сияющую, словно мраморную наготу, натянутую на огромные подрамники, выкручивало не свойственное ей отчаяние, так что почему-то хотелось плакать.

И все-таки я любила разглядывать работы Петрова, расплавляющие пространство мира в тягучее маслянисто бликующее золото и рассказывающие даже не о Зое или любви к ней, а об одиночестве самого Петрова — и его мучительном восхищении Зоиной красотой. Особенно помню одну: я часами ее разглядывала. Подруга на том портрете зачаровывала меня невероятной нежностью и притягивающим и одновременно пугающим диссонансом между юностью губ, подбородка, шеи и горькой складкой скорби в остановившейся, окаменевшей полуулыбке.

Будто она держала на своих круглых, мягких, юных плечах все грехи и тайны мира. Ну как такое можно нарисовать?!

Однажды молчаливый Петров не выдержал моего эсхатологического восторга перед грешною золотою тайной Зоиных портретов — и разговорился. Будто торопясь объяснить что-то важное — даже не мне. Или поблагодарить за будущее понимание (меня).

Он сказал: существует не так уж много феноменов, где изначально присущая миру гармония дана нам в дистиллированном, незамутненном виде. Это полное сияющих звезд ночное небо высоко в горах. Шапка свежесвыпавшего снега на сосновой колкой ветке. Безупречная парабола, прочерченная в облаках парящей птицей. И красота обнаженной Зои: контур бедра, полунаклон шеи, кристаллизованное совершенство, сводящее с ума своей доступностью — и отстраненностью.

Да, все дело было в этом — Петров страдал от Зоиной податливой близости и одновременной недосягаемости. И пытался их выразить, чтобы освободиться. А я, находясь с ним глаза в глаза и ничего не

видя, умирала от собственного горя: никогда, никогда мне не создать ничего похожего!

И тогда я бросила рисовать — все равно без толку.

Конечно, сначала пришлось непросто: я же училась живописи. А это затруднительно, если ты не берешь в руки ни карандаша, ни красок. Но я перевелась на факультет теории и истории изобразительного искусства, а искусствоведам не обязательно самим рисовать.

Чтобы прослыть на этом поприще несомненным талантом, достаточно быть впечатлительным человеком. Удивительно: по-моему, я не доставала Полярной звезды как художница, но стала подающей надежды молодой искусствоведшей, бесстрашно жонглирующей чужими историями.

Цитаты, вечные цитаты! Искусство, начиная с XX века, все время цитирует прошлое, забираясь туда, где только камни и сказки. И где протяжные женские голоса — мужские остаются почти неслышными, тихими — то взлетают жалобным плачем, то падают в шепот, переливаются страстью и нежностью. И будто открываются невидимые, неведомые двери: огромные близкие звезды в ночном небе, костры, быстрые светлые глаза из-под надвинутой на брови легкой меховой шапки.

Тысячи лет мир был естественным, бескрайним — и вдруг он стал невероятно маленьким и уязвимым. Буквально в течение десятилетий люди научились лечить смертельные болезни и летать, преодолевая гигантские расстояния за считанные часы; они перестали вымирать от чумы и увидели свою планету с ее орбиты.

И стали убивать других людей, уничтожая с лица Земли целые города, — просто нажав пальцем на кнопку.

Сегодня все бесповоротно стало быстрым, не требующим усилий и личного контакта: еда, информация, эмоции, чувства. Утопая в безостановочно производимом контенте и общаясь в соцсетях с сотнями никогда не виданных «друзей», человек ощущает такое глобальное одиночество, каким не было даже одиночество Адама и Евы, только что изгнанных Богом из уютного рая.

Мы испуганы. Растеряны. Мы больше не верим в бессмертие.

Но искусство спасает, искусство утешает, искусство решает два главных вопроса человечества: кто мы и зачем мы. А мифы — созданные тысячелетия назад и заботливо поддерживаемые — помогают нам

вернуть огромный потерянный нами мир и почувствовать себя его частью, которая (вместе с этим миром!) никогда не окончится.

Выпустившись из Репинки, я стала специалистом по Петрову. Все с ним носились. Все его выставляли. А меня просили настроичить какой-нибудь концептуальненький контент.

В это время Петрова вдруг принялись называть русским Уайетом. Художников действительно многое роднило: любованье незамысловатыми деталями человеческого быта, солнце, одиночество, полынный привкус картин.

Но сам Петров от этого сравнения леденел — оно приводило его в невыразимое бешенство. А меня нет-нет да посещала бунтующая стыдная мысль: назовет ли хоть кто-нибудь Эндрю Уайета американским Петровым? Только я смущенно ее отгоняла — ведь Петров был невероятно хорош. И молод. Так что у него вся жизнь была впереди: чтобы стать гораздо круче умершего старика-американца.

И все-таки я не могла не видеть: Зоя чем-то неуловимо напоминала уайетовскую тайную жену и натурщицу Хельгу Тесторф. Будто находящуюся в насквозь солнечном саду земных наслаждений: мягкое золото шеи и живота, яркие пятна света на бесстыдных круглых коленках, взъерошенный невидимую недавней лаской грешный треугольник с запутавшимся в нем солнцем. Свежая прохлада летнего дня. Любви. Обладания. Отчаяния.

Женатый американский художник встретил ее случайно — Хельгу Тесторф, терпеливую женщину с крупным ртом и широко расставленными «северными» глазами. Он прожил с Хельгой в грехе пятнадцать лет — и нарисовал двести сорок семь сияющих чистым золотом портретов. А когда его не было рядом, томимая неутолимой тоскливой любовью Хельга Тесторф погружалась в депрессию. Энрю Уайет даже нанял ей сиделку, потом устроил на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу и, наконец, съехался с ней навсегда, войдя в историю изобразительного искусства двоеженцем.

Приходил. Уходил. А она ждала его в заброшенной школе — их «убежище». Которое выглядело, как незастеленная постель, заваленная пустыми пакетами из-под чипсов. Хельга все время лежала в углу кровати с опрокинутым бесцветным лицом, залитым темною водою печали. Но стоило Уайетту появиться и привычно разложить краски — она оживала. Снова превращалась в летнюю богиню Ильматар.

Собравшись однажды, я уезжаю в Олонец и устраиваюсь учительницей рисования в обычной школе. Но и в Питере бываю наездами. Когда туда едет кто-нибудь из знакомых. Дорога занимает меньше трех часов. Или пять часов на автобусе.

«Привет, я к Зое», — говорю открывшему мне дверь Петрову, но он даже не кивает. Лицо у него сосредоточенно-пустое; только в глазах будто мелькают облачка — как двадцать пятый кадр на киноплёнке. Я знаю: там, внизу, под оранжево-розовыми кислотными облаками, все время взрываются и булькают недра неизведанной планеты.

Петров молча разворачивается и уходит к неоконченной работе. А я иду на кухню, где Зоя курит травку. Она сама набивает сигареты и сушит их на крышке желтой эмалированной кастрюли, поставленной на плитку. Разминает длинными пальцами — слышно, как сигаретки сухо хрустят. Протягивает одну мне.

Зоя вернулась домой неделю назад, и глаза у нее все еще спокойно-матовые, безмятежные, какими становятся, когда кончается каждая Зоина любовь: они как слепые глаза статуй. Подруга только что вышла из душа, и на ее круглых мягких плечах невесомо сохнут вымытые влажно-пушистые волосы: темно-золотое колечко прилипло к розовой щёке. Зоя пытается его сдуть — безрезультатно.

На прощанье я неслышной змейкой струюсь в мастерскую Петрова — где гигантские Зоины портреты. За неделю, что я здесь не была, портретов стало еще больше. Взглянешь — и задыхаешься от красоты. В темноте, напротив обнаженной Зои, улыбающейся со свежего карандашного наброска, обхватил руками голову Петров, и в его глазах такое привычное отчаяние, что внутри у меня что-то предвещающе обрывается.

Судорожно отвожу от Петрова взгляд — и скольжу дальше: где сгибается кисть огромной руки и где смыкаются гигантские колени. На стенах не осталось ни одного свободного от Зои клочка. Прекрасное хтоническое чудовище, золотое и бессмертное, угрожающе множась, заполняет шелково текущими светотенями все пространство, испускает убийственно-обычное сияние.

Больше я не увижу эти портреты: их вынесли, когда освобождали мастерскую. В ней сейчас рисует совсем другой человек, а Петров сидит в сумасшедшем доме.

После того, как я тогда ушла, торопясь на автобус, — он зарезал Зою. Ткнул неглубоко в общем-то и как-то очень легко — и сразу попал в сердце. Схватил карандаш.

Зоина смерть не причинила мне большого горя — и даже не стала неожиданной. Труднее было бы представить золотую Зою стареющей, мучимой неприятными проявлениями климакса. Уверена: она сама была бы не против умереть молодой.

Только одно не давало покоя: впечатлительность живо рисовала мне страшное освобождение мастерской от портретов подруги. Будто я навсегда попала в лимб или чистилище и теперь смотрю бесконечные дубли абсурдного фильма ужасов. Где чужие, грубые люди снова и снова выносят Зоино мертвое тело.

И было бесконечно жаль Петрова: его молодой талант, любовь, мечты. Никто не знал, сколько его продержат в тюремной больнице, да и сможет ли он после лечения хотя бы карандаш в руках удерживать.

Вот так, была жизнь — и не стало жизни.

На Зоиних похоронах мы видимся со Светкой — почему-то давно не встречались. А она сильно изменилась! Будто изнутри вынули горящую свечку — как из трепетного бумажного фонарика.

Светка ведь самая талантливая из нас (после Петрова). Еще на первом курсе рисовала пейзажи, соединенные с человеком. Помню: влюбившись, она изобразила распахнутые на весеннем лугу ворота — как раскиданные женские коленки. От этой Светкиной картины так и несло первым сексом.

Только любовь, секс и даже дружба неизменно оказывались на задворках Светкиной жизни, а самым важным для нее всегда была живопись. Умница-подруга вдохновенно жертвовала живописи себя, надеясь, что та незамедлительно исполнит смешные девчоночьи мечты — какими мы, дурачась, делились в семнадцать лет, передавая друг другу по кругу тарелку с картошкой и полувыдавленный пакет вина.

Она смеялась: *vita brevis, ars longa* — жизнь коротка, искусство вечно, — и была строга со своею музой, не позволяя той капризничать (сегодня пришла, завтра нет). Рисовала каждый день! Боялась превратиться в нежную тучку золотую, которая сидит и ждет, старея, пока на нее снизойдет озарение. Боялась не успеть получить все, о чем ей искушающе нашептывал талант.

Вот только Светка считала, что художник должен быть сытым, выпавшимся и уверенным в завтрашнем дне, а образ голодного непризнанного гения, который ночью на чердаке клепает нетленку, питаясь лишь красным вином и черствым багетом, придумали хитрые галеристы, чтобы легче раскручивать художественных новобранцев.

Поэтому в двадцать лет она стала жить с шестидесятилетним любовником — маститым скульптором М.

Он устроил ей выставку. Пристроил в приличные галереи несколько ее картин. Организовал благожелательные отзывы. Обещал выбить для нее мастерскую.

Как-то — пару лет назад — подруга затащила меня с ним знакомиться, а сама срубилась после бутылки шампанского; я тоже нарезалась — и мы с М. поцеловались.

Гадость какая! От него даже пахло старением.

Я была у Светы — в мастерской скульптора — сразу после Зоинных похорон (М. находился в отъезде). Мы что-то настрогали, что-то налили — поминая подругу-красавицу.

Морщась от алкоголя, я растерянно оглянулась на райски белоснежные ящички, подписанные самовлюбленным каллиграфическим почерком М. На его неоконченные, ожидающие работы. Любовно накинутую на спинку стула вязаную домашнюю кофту. Уткнувшиеся носами теплые тапочки. Прибор для измерения давления.

Вещи М. будто дремали, по-собачьи дожидаясь возвращения хозяина. И ничего не свидетельствовало о том, что в этом мире обитает молодая женщина (даже в ванной!). Только щетка для волос — явно не принадлежавшая М., череп которого мраморно сиял, — виновато выглядывала из-под вавилонской башни мужских гелей, кремов, дезодорантов.

Светкины потрясающие ворота торчали где-то в углу кверху коленками, а нового она давно не рисовала. Светка призналась, что просто не хватает времени: она же при маститом и секретарь, и нянька.

Ага! Молодая. Удобная. На все готовая. Всегда под рукой. То картины очередной протее на выставке развешивает. То позирует своему Микеланджело.

И вдобавок люто его ревнует.

У Зои и Петрова остался ребенок. Мальчик. Сын. Она родила его невероятно легко. Говорила: как будто сильно захотела в туалет, — и почти сразу закричал ребенок.

Материнство Зое очень шло — ее золотое сияние стало мягким и ласковым, баюкающим. Будто кто-то прикрутил горящую лампочку: чтобы не так резало глаза. Мальчик сосредоточенно играл Зоиными волосами, прикасаясь к ним просвечивающими розовым солнцем пальчиками, а она терпеливо улыбалась от сладкой влажной щекотки его дыхания.

Но через полгода Зоя ушла к новому любовнику.

Петров не знал, что делать с ребенком, и мне пришлось перебраться в питерскую мастерскую, чтобы за ним ухаживать. Так что мои десятилетки остались без интересных историй про изобразительное искусство.

Я и не знала, на сколько я покидаю Олонец, школу, свою жизнь: на день или на год. Оказалось — на четыре месяца. Вернулась подруга за неделю до смерти: как обычно, ничего не объясняя, — и я, облегченно выдохнув, собрала свои вещи и поехала домой.

Ольга Петровна, завуч, была добра: сначала отпустила меня «по собственному желанию», потом приняла обратно. Но я не пожалела бы в любом случае. Если честно, за это время — а Зоя отсутствовала несколько месяцев — я здорово привязалась к мальчику.

И столько всего произошло! «Мы» научились есть, ням-ням, вкусненькое тыквенное пюре — и ходить. Правда, еще неуверенно, цепляясь мягкой щекотной ладошкой за мою руку.

Когда Петрова задержали за убийство Зои, их ребенка поместили в дом малютки. Сама Зоя была сиротой и выросла в таком же детдоме — поэтому-то я и заботилась о мальчике, когда она «загуляла». А у Петрова хоть и были какие-то дальние родственники, но они забрали себе только его картины, потому что их можно было продать, — и не взяли его сына, который ничего не стоил.

И не то чтобы я о нем забыла, но все никак не могла вырваться: то надо было ехать черте куда опознавать тело и давать показания, то суетиться из-за похорон, то нагонять пропущенное в школе и писать бесконечные отчеты (чтобы не подвести Ольгу Петровну).

В общем, я смогла провести мальчика только сегодня.

Накануне я строгала канцелярским ножом сломанные карандаши десятилеток и нечаянно порезала ладонь. Мои мальчики и девочки восхищенно сгрудились, любуясь, как хлещет красная кровища и как

я неловко орудую одной рукой, пытаюсь сделать перевязку. Рана оказалась неожиданно глубокой — и я ушла на больничный. А тут хороший знакомый хороших знакомых — раньше не знакомый мне парень — поехал в Питер и захватил меня.

Вот ведь как удачно все вышло! Я украдкой наблюдаю за симпатичным сероглазым профилом — и ловлю ответно-быстрые взгляды. В общем, прибываю в дом малютки впечатленной. Даже думаю: а было бы совсем неплохо прожить вместе пятнадцать — и миллион лет.

И вдруг начинают лететь большие слипшиеся снежинки! Как развернувшиеся от ветра куски сахарной ваты.

Люблю, когда первый снег падает после тепла. Мокрые хлопья — как осторожные кисточки — счищают с мира пыль прошлого. Краски становятся умытыми, яркими — словно на талантливых детских акварелях.

Мы обмениваемся с сероглазым водителем телефонами.

Ребенок Зои и Петрова — через месяц ему должен исполниться год — перебирает прозрачными пальчиками по перильцам своей зарешеченной кровати-одиночки. Милый льняной нимб на голове. Нежное лицо. И будто въяве: опущенное, испягнанное кровью раненное крылышко.

Мальчик с мгновенной жадностью схватывает мою неуклюжую взрослую улыбку — и расцветает солнечным счастьем. Узнал! Тычет пальчиками в сторону моей перебинтованной руки и недоуменно разглядывает собственную ладошку: почему такой любопытной штуки нет у него.

Беру его на руки — утыкаюсь в золотую макушку. Потрясенно задыхаюсь от сладкого запаха недавно рожденной жизни. Только сделавшей первые шаги навстречу неведомой судьбе — и любви.

Улыбаясь, он смотрит на меня с доверчиво-серьезным пониманием — как могут смотреть из вселенной. Я знаю: если я уйду — он начнет неумолимое погружение в океан одиночества. Где злые слезы и игры, пасмурный взгляд на прохожих, горькая ненужность и ничейность.

Я выскочила на крыльцо. В груди невыносимо жгло. Вытащила сигарету. Сломала. Еще одну. Еще. Смяла пачку в беспокойный комок — кинула в урну, промазав.

Вот так я и бросила курить.

Оглянулась — глаза резанул белый свет. Снег! Шероховатый — как лист. И раненная рука вдруг забыто заныла от желания, поглаживая воображаемый карандаш.